

ПОДЪЯЧИЙ ЕРШОВ • КНИГА 3

ЧУЖОЙ ЧЕЛОВЕК

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ



Aleksandr Demidov

Aleksandr Demidov

Чужой человек

<https://litres.ru/74660742>

SelfPub; 2026

Аннотация

1660 год. Казань. За соляными амбарами находят зарезанного человека из Арзамаса. Накануне он при всей пристани опознал в водоливе Фоме беглого крепостного и обещал увезти его хозяину. Свидетели, угроза, чужое имя — всё указывает на Фому.

Но подьячий Тимофей Ершов знает: убедительная улика ещё не означает правду. Показания расходятся во времени. Новый кушак оказывается платой за ложь. А исчезнувшая выписка связывает убийство с человеком, который слишком хорошо осведомлён о чужом прошлом.

Распутывая преступление, Ершов обнаруживает торговлю человеческой жизнью, продолжавшуюся шесть лет. Теперь ему предстоит не только найти убийцу, но и решить, имеет ли он право раскрыть правду, которая невиновного не спасёт, а лишит дома его жену и ребёнка.

«Чужой человек» — исторический детектив о Казани XVII века, где бумага бывает опаснее ножа, свобода имеет цену, а закон и справедливость редко говорят одно и то же.

Содержание

После Михайлова дня	6
Сличение	16
Утро у пристани	25
Кабала	33
Услужливый человек	41
Кабак	49
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Aleksandr Demidov

Чужой человек

Александр Демидов

Чужой

человек

Исторический детектив

Серия «Подьячий Ершов»

Книга третья

Оглавление

После Михайлова дня 3

Сличение 12

Утро у пристани 20

Кабала 28

Услужливый человек 36

Кабак 43

Дарья 50

Товарищ с пристани 57

Соль 66

Свидетель 72

Ибрагим считает 80

Запрос 91

Перевозчик 97

Струг уходит 105

Дарья у Ершова	111
Ответ из Арзамаса	118
Портомойка	126
Домой	136
Что помнит Харитон	144
Человек Карцева	152
Отец Дарьи	159
Решение	167
Исполнение	176
Покров	182

ГЛАВА ПЕРВАЯ

После Михайлова дня

Осенью, на смотринах у мельника Прокофия, Ибрагим узнал от его работника, что за помол Прокофий берёт плату зерном, своим старым четвериком, а четверик этот больше казённого. С каждой четверти помола мужик отдавал мельнику не четверик, а четверик с лишком. Ершов тогда решил: сперва проверить самому, потом говорить с мельником.

За неделю до Михайлова дня он повёз на мельницу мешок ржи, свой, купленный у чувашина на торгу за медь с придачей. С собой он взял казённую меру: в таможене, под расписку, на один день, ему дали печатный четверик, с клеймом. С ним можно было сличить, сколько возьмёт мельник. Таможенный целовальник, отдавая четверик, спросил, зачем подьячему мера, и Ершов сказал: мельнику показать. Целовальник подумал и сказал: а, Прокофию. И больше не спрашивал.

Ибрагим поехал с ним. Ибрагим сказал, что без толмача Ершов на мельнице узнает только одну правду, потому что Прокофий будет говорить по-русски, а работники русского не ведают, а самое интересное завсегда расскажут именно работники.

Мельник Прокофий встретил их у ворот, белый от муки, и долго смотрел на печатный четверик в руках у Ершова. Потом на Ершова. Потом на Ибрагима.

— К сестре моей сватался, — сказал он наконец. — А теперь с казённой мерой ко мне пришёл. Это как понимать?

— Я с помолом, — сказал Ершов. — А мера — чтоб знать, сколько ты с меня за помол возьмёшь.

Прокофий взял у него четверик, повертел, постучал по клейму ногтем. Потом пошёл в мельницу, и Ершов пошёл за ним, и Ибрагим тоже. В мельнице было пыльно, шумно, жернов шёл, и мука висела в воздухе так, что Ершов чихнул три раза подряд. Прокофий снял с гвоздя свой четверик, старый, тёмный, захватанный, и поставил рядом с печатным. Насыпал свой зерном доверху, ровно, рукой срезал. Пересыпал в печатный. Печатный наполнился, а в старом ещё осталось на дне.

Ибрагим взял с ларя гарнец, выгреб остаток ладонью, пересыпал. Вышло полгарнца.

— Полгарнца, — сказал Ибрагим. — С каждого помола. Прокофий смотрел на гарнец долго.

— Отцовский, — сказал он. — Четверик. Отец им мерил. Я им мерю. — Он помолчал. — Я не знал.

— Работник знал, — сказал Ибрагим.

Прокофий обернулся к работнику, который стоял у ларя, молодой, татарин, с мучными бровями. Работник смотрел в пол.

— Знал? — спросил Прокофий.

Работник сказал что-то по-татарски. Ибрагим перевёл: знал, а кто ж хозяину скажет, хозяин сам знает, раз мерит.

Прокофий постоял. Потом взял свой четверик, отцовский, и вынес из мельницы на двор, и поставил на колоду, и ушёл в избу, ничего не сказав. Ершову смололи рожь. Плату за помол работник отмерил ему печатным четвериком, ровно, без лишка.

Ульяна в тот день на двор не вышла.

На Михайлов день Марфа пришла к Акулине, посидела, попила квасу, поговорила про погоду, про то, что Кабан замёрз раньше, чем в прошлом году, и что у попадьи с Воскресенской улицы опять двойня. Про Прокофия и Ульяну не говорила. Уходя, у двери, сказала, не оборачиваясь:

— Прокофий четверик новый купил. Печатный. В таможене. Ульяна сказала: давно пора. — Она надела рукавицы. — А тебя, Тимофей Андреевич, в избу больше не звали.

— Я знаю.

— Знаешь, — сказала Марфа. — А я, может, не знала. Я думала, может, позовут.

И ушла.

Зима прошла как зима. Ершов писал в приказной избе кабацкие книги, потому что сыска не было, а подьячий без сыска пишет то, что дают. Кормовые выдавали медью, с опозданием, по два месяца разом, и Акулина брала за постой с придачей, а придача к Рождеству стала три деньги на гривну, к Масленой четыре. На Масленой Аграфена позвала его на блины, и он пошёл, и она спросила, правда ли, что он у Прокофия меру поверял, и он сказал правда, и она смеялась

так, что Тихон заглянул из сеней посмотреть, что случилось. Потом перестала смеяться и сказала:

— Он ведь тебя в зятя хотел.

— Хотел.

— А ты ему меру.

— Мера кривая была.

— Кривая, — согласилась Аграфена. — Отцовская. Он ею тридцать лет мерил. — Она подлила ему сметаны. — Ешь, Тимофей Андреевич. У меня мера своя, я ей не верю, я на безмене вешаю.

Лист Корнилы лежал у Ершова в сундуке, под рубашками, в тряпице. Он его не доставал. Про Вешнякова вестей не было. Про Корнилу тоже.

В Великий пост лёд на Казанке посинел, потом почернел, потом пошёл. Ершов в этот раз на ледоход не смотрел. Он сидел в приказной избе и считал, сколько выпито в Казани вина за прошлый год по кабацким книгам, и сколько недобрано, и почему у целовальника на Арской дороге недобор третий год подряд, а целовальник третий год пишет, что народ не пьёт. Ершов съездил на Арскую дорогу и посмотрел на народ. Народ пил. Ершов записал. Целовальника сменили. Новый целовальник был племянник старого.

После Пасхи на Бакалде начали смолить струги.

Струги зимовали у Бакалды, вытащенные на берег, на катках, и теперь их обдирали, конопатили, смолили, и над Бакалдой стоял чёрный дым, и пахло смолой так, что у Аку-

лины в избе, за полверсты, сохло в горле. Стругов было шесть. Самый большой — Ефрема Рыжова, торгового человека, хлебный, на двадцать с лишком сажень, с казёнкой на корме. Он уходил первым, как только встанет судовой ход: вверх, к Нижнему, с грузом.

Груз был Аграфенин. Не весь, но половина: соль, которую она взяла у соликамского ещё осенью в долг, до весны. Соль надо было отвезти в Нижний и там продать, и на выручку отдать соликамскому серебром, и тогда у неё оставалось бы ещё на новый насад, когда он придёт с Камы. Если продать. Если в Нижнем серебро будет. Если струг уйдёт вовремя.

— Рыжов надёжный, — сказала Аграфена, когда Ершов спросил. — Я с ним шестой год вожу. Мой ещё с ним возил. — Она помолчала. — У него кормщик хороший. И водолив. Водолив у него Фома. Он течь в струге по звуку слышит. Рыжов за него держится.

Воевода позвал его в Фомино воскресенье, после обедни, к себе, не в приказную избу, а в хоромы. Это было странно: в хоромы воевода звал только дьяка. Ершов пошёл. Ибрагим проводил его до ворот и остался на улице, сказал: в хоромы толмача не зовут, толмач на улице подождёт.

Воевода сидел у окна, в домашнем, и ел редьку с солью. Поста не было, а у воеводы на столе была только редька, хлеб и квас: лекарь-немец велел ему есть редьку от живота. Воевода ел её сосредоточенно, с хрустом, и, когда Ершов вошёл, не перестал.

— Садись, — сказал он. — Редьки хочешь?

— Спаси Бог.

— Как хочешь. — Воевода доел кусок, вытер пальцы о полотенце. — Ты у нас по сыску. Медь сыскивал. Утопленника сыскивал. — Он помолчал. — Тут не сыск. Тут сличить надо.

Он кивнул на стол. На столе лежала бумага, свёрнутая, с печатью, сломанной.

— Арзамасец приехал, — сказал воевода. — Ещё по последнему санному. Сына боярского арзамасского человек. Степана Лопатина. Ищет беглого. Бил челом мне ещё в Великий пост, с выписью. Беглый у него крестьянин, Мишка, ушёл в моровое поветрие, шестой год. Арзамасец говорит: нашёл. Здесь, в Казани. На Бакалде. На Рыжовом струге. — Воевода посмотрел на Ершова. — Водолив.

Ершов не сказал ничего.

— Рыжов говорит: это мой кабальный, Фома, шестой год у меня, кабала записана в приказной избе, всё по чину. Арзамасец говорит: кабала кабалой, а он беглый. — Воевода взял ещё кусок редьки, посолил. — Ну и пусть разбираются. Только Рыжову через неделю идти. С солью. С Кондратьевой солью, мне дяк сказал. — Он посмотрел на Ершова поверх редьки. — Ты с Кондратьевой знаком.

— Знаком.

— Вот. — Воевода откусил. — Сличи. Выпись с человеком. Приметы с приметами. Как положено. Чтоб быстро. Чтоб Рыжов ушёл, а арзамасец, коли его правда, своё полу-

чил, а коли не его — домой поехал. — Он прожевал. — И чтоб без медных твоих историй. Беглый — это не медь. Беглых каждый год по десятку. Сличил — записал — отдал. Или не отдал.

— Понял.

— Бери выпись. — Воевода кивнул на бумагу. — Арзамасец у Гостиного двора стоит, на постоялом, у Фалалея. Гордей звать. Гордей Шишкин. — Он подумал. — Мужик ничего. Упрямый. Шестой раз ко мне ходит.

Ершов взял выпись и вышел.

Ибрагим ждал на улице, на лавке у ворот, и щёлкал орехи.

— Ну? — спросил он.

— Беглый, — сказал Ершов.

— Чей?

— Сличить надо.

Ибрагим сплюнул скорлупу и встал.

Выпись Ершов прочёл на ходу, а потом ещё раз, у Акулины, за столом, при окне. Выпись была с переписных книг, сто пятьдесят четвёртого году, Арзамасского уезда, деревни Кужеры, за сыном боярским Степаном Лопатиным. И в той деревне во дворе крестьянин Ивашка Савельев, у него сын Мишка. И подпись дьячья, и печать.

А ниже приписано другой рукой, позже: «А по скаске помещика его Степана Лопатина, тот Мишка Ивашков сын в моровое поветрие сто шестьдесят второго году с поместья бежал, а приметы его, каков был, как бежал: ростом средний,

волосом рус, борода невелика, на лбу над левой бровью рубец, на левой руке мизинец кривой, говорит скоро».

Ершов прочёл приписку дважды. Двор и семья были записаны по книге. Приметы сказал хозяин.

Ершов положил выпись на стол.

— Средний, рус, борода невелика, — сказал он.

— Пол-Казани, — сказал Ибрагим.

— Рубец над левой бровью. Мизинец кривой.

Ибрагим промолчал.

— Говорит скоро.

Ибрагим подумал.

— А это как писать? Скоро — это как? Я скоро говорю?

— Ты медленно говоришь.

— Я медленно, — согласился Ибрагим. — Я думаю, пока говорю. А Акулина скоро.

Акулина, которая месила тесто у печи и слушала, сказала, не оборачиваясь:

— Я говорю, как надо. Это вы оба мямлите.

Гордея Шишкина Ершов нашёл на другой день, на постоялом дворе у Фалалея. Двор был большой, грязный, людный, у самого Гостиного, и стояли там приезжие, торговые, обозные, судовые, кто ждал воды. Гордей сидел во дворе на чурбаке и чинил сапог. Мужик он был немолодой, сухой, с большими руками и с длинным худым лицом, тёмным от ветра. Он поднял глаза на Ершова, увидел бумагу у него в руке и встал.

— От воеводы? — спросил он.

— От воеводы.

— Слава Богу. — Гордей перекрестился. — Шестой раз ходил. — Он отложил сапог. — Ты, значит, сличать будешь.

— Я.

— Сличай, — сказал Гордей. — Сличай, подьячий. Он это. Я его на струге увидел, на Бакалде, в Великий пост, — он лёд под днищем скалывал, у катков, струг к спуску готовил. Я его по рубцу узнал. Рубец у него над бровью, вот тут. — Он показал на себе. — И мизинец. Я ему говорю: Мишка. Он на меня глядит. Я ему: Мишка, Ивашков сын, кужерский. А он молчит. А потом говорит: Фома я. И ушёл. — Гордей сел обратно на чурбак. — Фома. Шестой год Фома. А мы его в Кужере шестой год ищем.

— Ты сам его знал? Мишку? До бегства?

Гордей помолчал.

— Видал, — сказал он. — Я у Степана Фёдоровича в другой деревне живу, в Лопатине. А Кужера — за рекой. Видал. На ярмарке. В церкви на Покров. — Он посмотрел на Ершова. — Я его не в лицо знал, подьячий. Я его по приметам знаю. Мне Степан Фёдорович так и сказал: ищи по приметам. Рубец, мизинец. Я шесть лет ищу. В Нижнем был, в Кузьмодемьянске, в Чебоксарах. Три зимы в дороге. — Он помолчал. — Тут нашёл.

— Сличать будем при людях, — сказал Ершов. — На струге. При Рыжове, при кормщике. Завтра.

— Завтра, — сказал Гордей. — Слава Богу.

Он снова взял сапог. Ершов постоял.

— Сапог-то чей? — спросил Ибрагим.

Гордей посмотрел на него, на Ершова, снова на сапог.

— Мой, — сказал он. — Чей ещё. Три зимы. Третий раз подмётку ставлю. — Он поковырял шилом. — Степан Фёдорович на сапоги не даёт. Говорит: найдёшь Мишку — на сапоги дам.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сличение

Сличали на струге, на корме, у казёнки, потому что Рыжов сказал: на берегу народ, а на струге свои. Своих на струге было человек пятнадцать: кормщик, водолив, ярыжки, которые конопатили борт и делали вид, что не слушают, двое Рыжовых сидельцев и мальчишка, который носил смолу. Народ на берегу всё равно собрался. Сличение беглого на Бакалде случалось не каждую весну, а смотреть на него можно было бесплатно.

Струг уже спустили. Он стоял у берега на воде, чёрный, свежепросмолённый, и от него пахло так, что слезились глаза. По сходням носили кули: Аграфенина соль шла в трюм с утра, и Тихон стоял у сходен и считал, и, когда Ершов проходил мимо, кивнул ему, не прерывая счёта.

Рыжов был мужик грузный, широкий, лет пятидесяти, в синем кафтане, с толстыми пальцами в перстнях. Перстни были медные, позолоченные. Он сидел на бочке у казёнки и держал на коленях кабалу, свёрнутую, и не отдавал.

— Сличай, — сказал он Ершову. — Только скорее, подьячий. У меня неделя.

— Сличу, — сказал Ершов. — Кабалу дай.

— Кабала потом. Сперва сличи. — Рыжов посмотрел на Гордея, который стоял у борта, прямой, в залатанных сапогах. — Коли он не Мишка, на что тебе кабала?

Ершов подумал и не стал спорить.

Фому привёл кормщик. Кормщик был старик, маленький, жилистый, с белой бородой, заткнутой за пояс, чтоб не мешала, и звали его Пахом. Фома шёл за ним из трюма, вытирая руки о порты. Он был в одной рубаше, мокрой на спине, и на руках у него была смола.

Ершов посмотрел на него.

Ростом средний. Волосом рус, с рыжиной, выгоревший на концах. Борода невелика, ключьями, будто её стригли ножом. Над левой бровью рубец, белый, косой, через всю бровь, так что бровь в том месте росла не сплошь, а двумя кусками. Лет тридцать, может, больше. Лицо спокойное, неподвижное, глаза светлые. Он встал перед Ершовым, опустив руки, и не смотрел на Гордея.

— Фома, — сказал Ершов. — Чей сын?

— Ерофеев.

— Откуда родом?

— Из Кузьмодемьянского уезда. Из Ветлужской стороны. — Он говорил медленно, ровно, будто каждое слово сперва поднимал и смотрел, не тяжело ли. — Деревни не помню. Мать в мор померла, отца я не знал. С малолетства по Волге.

— С малолетства где?

— По Волге, — повторил Фома. — В ярыжках. На стругах. Где возьмут.

Гордей у борта шевельнулся.

— Врёт, — сказал он. — Подьячий, он врёт. Кужерский

он. Мишка.

— Погоди, — сказал Ершов.

Он развернул выпись. Прочёл вслух, медленно, для всех, для Рыжова, для кормщика, для ярыжек, которые перестали стучать конопаткой.

— Ростом средний, — сказал он и посмотрел на Фому. — Средний. Волосом рус. Рус. Борода невелика. Невелика.

Народ на берегу загудел. Кто-то засмеялся. Кто-то крикнул: бери его, арзамасец, вяжи, — и на крикуна зашикали.

— Над левой бровью рубец, — сказал Ершов.

— Есть рубец, — сказал Гордей. — Сам видишь, подъячий. Есть.

— Откуда рубец? — спросил Ершов у Фомы.

Фома не ответил. Ответил кормщик Пахом.

— Багром, — сказал Пахом. — При мне. На Самарской луке. Сто шестьдесят пятого году, по осени, на перекате, мы на мель сели, сымались, ярыжка с другого борта багор упустил, а он под ним стоял. — Пахом показал пальцем на бровь Фомы. — Вот сюда, крюком. Кровью залился, я думал — без глаза останется. Остался с глазом. Я ему сам бровь мхом затыкал. — Он помолчал. — А до того бровь целая была. Я его третью осень знал.

— Сто шестьдесят пятого, — повторил Ершов.

— По осени.

Ершов посмотрел в выпись. Мишка бежал в сто шестьдесят втором году. Приметы его сказаны по бегству. Рубец у

Мишки был в сто шестьдесят втором. У Фомы рубец с сто шестьдесят пятого.

— Врёт старик, — сказал Гордей. Он сказал это без злобы, твёрдо, как говорят то, что давно решено. — Он Рыжовский. Он за хозяйского водолива что хочешь скажет.

— Не Рыжовский я, — сказал Пахом. — Я кормщик. Я на Рыжова восьмую весну хожу, а на Волге — тридцать вторую. — Он посмотрел на Гордея снизу вверх, без обиды. — Ты, мил человек, на Самарской луке был? На перекате, на Переволоках?

— Не был.

— Ну вот. А я был.

Ершов записывал. Писал он на дощечке, которую Ибрагим держал ему вместо стола, крупно, как писал теперь, после ожога. «А кормщик Пахом сказал, что рубец у Фомки от багра, на Самарской луке, сто шестьдесят пятого году, при нём, а до того бровь была цела».

— Мизинец, — сказал Ершов. — Левую руку покажи.

Фома показал. Мизинец на левой руке был кривой, загнутый внутрь в верхнем суставе, будто его когда-то сломали и не выправили.

Народ на берегу ахнул. Гордей выдохнул, громко, и перекрестился.

— Ну вот, — сказал он. — Ну вот, подьячий. Рубец, мизинец. Всё сходится.

— Откуда мизинец? — спросил Ершов.

Фома посмотрел на свою руку. Пошевелил пальцем, будто проверял, на месте ли.

— С малолетства, — сказал он. — Не помню. Всегда такой.

Пахом пожал плечами: этого он не видел. Ершов записал. «А мизинец у Фомки на левой руке кривой, а откуда, того не помнит, сказал: с малолетства».

Он поднял голову.

— Говорит скоро, — прочёл он из выписи.

Тут засмеялись все. И ярыжки, и сидельцы, и на берегу. Даже Рыжов на бочке хмыкнул. Потому что Фома говорил так медленно, что за то время, пока он отвечал, можно было успеть перекреститься и ещё подумать, на что крестишься.

Гордей покраснел.

— Это он нарочно, — сказал он. — Нарочно тянет. Он скорый был. Мне Степан Фёдорович говорил: скорый, как сорока.

— Тебе Степан Фёдорович говорил, — сказал Ершов. — А ты сам его слышал? Мишку?

Гордей открыл рот. Закрыл.

— Не слышал, — сказал он. — На ярмарке видал. Не слышал.

Ершов кивнул и записал и это.

Потом он долго молчал, глядя в выпись, а все ждали. Ибрагим держал дощечку. Рыжов барабанил пальцами по кабале. Фома стоял, опустив руки, и смотрел мимо всех на берег,

на дымящие котлы со смолой, на народ. В толпе было человек сорок: бабы, ярыжки, мальчишки, нищий на костылях.

— Рост, волос, борода — приметы общие, — сказал наконец Ершов. — Про рубец кормщик другое говорит. Мизинец сходится. Как прежде говорил — здесь никто не слышал. — Он сложил выпись. — Пока отдавать нельзя.

— Пока нельзя, — повторил Гордей. Он смотрел на Ершова, и лицо у него стало другое. Не злое. Усталое и упрямое, как у человека, который долго нёс мешок и уже донёс, а ему говорят, что не тот мешок. — Подьячий. Я три зимы в дороге. Я его по рубцу узнал, он на меня поглядел — и ушёл. Своё имя он не сказал. Сказал: Фома. А кабы он был не Мишка, чего ему уходить?

— Кабы тебя на льду незнакомый мужик чужим именем окликнул, — сказал Ершов, — ты бы что сделал?

Гордей не ответил.

— Мне кабалу поглядеть надо, — сказал Ершов. — И в приказной избе книгу кабальную, где её записывали. И кормщика расспросить при губном, с крестным целованием. — Он посмотрел на Рыжова. — Два дня.

— Два дня, — сказал Рыжов. — Ну, два так два. — Он наконец протянул кабалу. — На, подьячий. Гляди. Всё почину. Сам дьяк руку прикладывал.

Ершов взял.

И тогда Гордей, который стоял у борта, шагнул вперёд, мимо Ершова, к Фоме, так близко, что Фома отступил, и ска-

зал ему в лицо, тихо, но так, что слышали все на корме:

— Мишка. Ты меня послушай. Отец твой Ивашка в позапрошлом году помер. Мать жива. Мать тебя ждёт. Степан Фёдорович тебя бить не станет, я его упрошу. Ты только скажи: я Мишка. Скажи, и пойдём. Мне три зимы. Мне домой надо.

Фома смотрел на него. Ершов видел, как у него на шее, над воротом рубахи, ходит жила.

— Я не Мишка, — сказал Фома. — Отойди.

— Мать тебя ждёт, — сказал Гордей.

— Отойди, — сказал Фома, и голос у него стал другим, не медленным, хриплым. — Ещё раз подойдёшь, ещё раз Мишкой назовёшь — убью. Слышишь?

И потом он сказал ещё что-то, коротко, сквозь зубы, на другом языке, не по-русски, и повернулся и пошёл к трюму, и спустился в трюм, и больше не вышел.

На корме было тихо. На берегу кто-то свистнул.

Пахом, кормщик, сплюнул за борт.

— Дурак, — сказал он. Непонятно про кого.

Рыжов встал с бочки.

— Записал, подьячий? — спросил он устало. — Что он сказал? Пиши: со зла сказал. С обиды. Ты его третий раз чужим именем зовёшь. Он и обозлился.

— Записал, — сказал Ершов.

Он записал. «А Фомка сказал тому Гордейку: отойди. Ещё раз подойдёшь, ещё раз Мишкой назовёшь — убью. Слы-

шишь?» Перечёл. Не вычеркнул.

Потом он протянул выпись Гордею.

— Твоя бумага, — сказал он. — Держи. Нужные строки я списал.

Гордей взял выпись. Развернул, посмотрел, всё ли на месте, печать, подпись, приписку. Будто боялся, что подьячий что-нибудь из неё вынул. Потом сложил вчетверо, ровно, и сунул за пазуху, за рубаху, к телу, и прижал рукой.

— Два дня, — сказал он.

— Два дня.

Гордей кивнул и пошёл по сходням на берег. Народ расступился перед ним, кто-то что-то ему сказал, он не ответил. Ершов смотрел, как он идёт вверх по берегу, мимо котлов со смолой, мимо бочек с мёдом, к Гостиному, и как у бочек его кто-то окликнул, торговый человек в добром кафтане, и Гордей остановился, и они поговорили о чём-то, недолго, и Гордей пошёл дальше.

Ибрагим опустил дощечку.

— Это не татарское, — сказал он.

— Что?

— Что он сказал. Последнее. — Ибрагим подумал. — Не татарское и не чувашское. Чувашское я бы понял. — Он помолчал. — У нас на торгу мордва ходит, с Арского конца, мёд продаёт. Они так ругаются. Похоже.

— Похоже — или так?

— Похоже, — сказал Ибрагим. — Я по-мордовски не го-

ворю. Я слышу.

Ершов посмотрел на трюм. Из трюма никто не выходил. Ярыжки снова стучали конопатками. Тихон у схода считал кули.

— Тридцать семь, — сказал Тихон, когда Ершов поравнялся с ним. — Тридцать восемь. — Он поднял глаза. — Подьячий. Хозяйка спрашивает: идём через неделю или нет?

— Через два дня скажу.

— Через два дня, — повторил Тихон и снова стал считать. — Тридцать девять. Сорок. — Он помолчал. — Она спросит, почему через два.

— Скажи: кабалу читаю.

— Скажу, — сказал Тихон. — Она скажет: долго читаешь. — Он махнул грузчику. — Сорок один. Не роняй, чёрт, это соль, а не дрова.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утро у пристани

Гордея нашёл Фалалеев работник, Митька, который на рассвете пошёл за соляные амбары по нужде, потому что во дворе у Фалалея нужник был один на сорок постояльцев и к утру в него стояла очередь. За амбарами, у самого Булака, в лопухах, лежал человек. Митька сначала подумал, что пьяный, и хотел пройти, а потом увидел, что пьяный босой, а на дворе ещё холодно по утрам, и что под пьяным земля тёмная. Он вернулся во двор и сказал Фалалею. Фалалей пошёл посмотреть, вернулся и послал Митьку к губному. Сам Фалалей потом говорил, что первым делом подумал не про губного, а про то, кто заплатит за постой, потому что арзамасец жил у него третью неделю в долг.

Ершов пришёл, когда губной уже стоял над телом. Губной был тот же, Фрол, только похудевший за зиму, и он стоял, заложив руки за спину, и смотрел вниз, и, когда Ершов подошёл, сказал, не оборачиваясь:

— Твой.

— Мой?

— Ты ж с ним вчера на струге сличал. — Губной посторонился. — Гляди.

Гордей лежал на боку, подогнув ноги, лицом к амбарной стене, будто отвернулся от всех и лёг спать. Шапки на нём не было. Сапог не было тоже. Ноги были в онучах, серых,

мокрых, и одна онуча размоталась, и было видно пятку, белую, с мозолью. Рубаха на нём была вытащена из портов и задрана, и под рубахой, слева, под рёбрами, была рана, одна, неширокая. Кровь ушла в землю. Земли кругом было много, чёрной, сырой, вперемешку с прошлогодними лопухами, и вся она была истоптана.

— Сапоги где? — спросил Ершов.

— Вот и я спрашиваю, — сказал губной. — Сапоги где. — Он посмотрел на Фалалея, который стоял поодаль с Митькой. — Фалалей говорит: в сапогах ушёл вечером. А нашли — босой.

— Ушёл когда?

— Затемно, — сказал Фалалей. — После ужина. Сказал: дело у него. Я говорю: какое дело ночью. Он говорит: к утру вернусь, подьячему к утру надо. — Фалалей помолчал. — Подьячему. Он так и сказал.

Губной посмотрел на Ершова. Ершов ничего не сказал.

Он присел на корточки возле тела. Земля под коленом была мокрая, и мокрое сразу прошло через порты. Он смотрел на рубаху. Подол был задран, ворот сдвинут набок, пазуха пустая. Похоже было, что его обыскивали. Вчера на струге Гордей сунул выпись за пазуху, за рубаху, к телу, и прижал рукой. Ершов это видел. Теперь там ничего не было.

— Выписи нет, — сказал он.

— Какой выписи?

— Его. На беглого. Он её вчера за пазуху положил. При

мне. — Ершов поднялся. — Тут.

Губной посмотрел на пустую пазуху. Потом на Ершова. Потом опять на пазуху.

— Кошель есть, — сказал он и кивнул на пояс. — Кошель на месте. Я глядел. Семь копеек, медью, да крест медный. — Он помолчал. — Сапоги сняли, кошель не тронули, бумагу взяли.

— Сапоги, может, потом, — сказал Ершов.

— Может, — согласился губной.

За амбарами уже собирался народ. Стояли у угла, вытягивали шеи. Двое стрельцов, которых губной привёл с собой, держали их, но лениво, потому что смотреть было не на что: лежит человек босой, отвернувшись к стене. Ибрагим стоял среди народа и разговаривал с кем-то по-татарски, тихо.

— Ночью кричал кто? — спросил Ершов у Фалалея.

Фалалей пожал плечами.

— На Булаке всякую ночь кричат, — сказал он. — Ярыжки. Бурлаки. Струги снаряжают — пьют. Я на крик не выхожу. Кто на всякий крик выходит, тот долго не живёт.

— А ты? — Ершов посмотрел на Митьку.

Митька, парень лет пятнадцати, рыжий, испуганный, переступил с ноги на ногу.

— Я спал, — сказал он. — Я в конюшне сплю. — Он подумал. — Кто-то вскрикнул. Один раз. Я думал — кобыла.

— Кобыла?

— У нас кобыла по ночам кричит, — сказал Митька. —

Старая. Ей кони снятся.

Губной хмыкнул. Ершов записал. «А Фалалеев работник Митька сказал, что ночью слышал крик единойжды, а почёл, что кобыла».

— Когда?

— Не знаю, — сказал Митька. — Ночью. Темно было.

Губной отвёл Ершова в сторону, к стене амбара, где их не слышали.

— Ну, — сказал он. — Говори.

— Что говорить?

— Ты вчера был. Я не был. — Губной смотрел на него прямо. — Мне уже трое пересказали. Водолив ему вчера при народе сказал: ещё подойдёшь — убью. Сказал?

— Сказал.

— Ты записал?

— Записал.

— Ну вот. — Губной помолчал. — А этот вчера вечером ушёл. «Дело у него». К подьячему к утру. Значит, хотел до утра что-то сделать, чтоб к тебе прийти. Что? Может, к водоливу пошёл. Ещё раз. Мишкой звать. — Он кивнул в сторону тела. — Сходил.

Ершов молчал.

— А бумага, — сказал губной. — Ты сам сказал: выпи-
си нет. Кому выпись нужна? Мне она не нужна. Фалалею не
нужна. Вору с Булака она не нужна, вор кошель возьмёт. —
Губной поднял палец. — Водоливу нужна. Нет выписи —

нет Мишки. Арзамасец мёртвый, бумаги нет, Лопатин в Арзамасе, ему до Казани три недели. Пока новую выпись справит — струг в Астрахани.

— Струг вверх идёт. К Нижнему.

— Ну, в Нижнем, — сказал губной. — Или где он там сойдёт.

Это было складно. Ершов знал, что это складно, и губной знал, что он знает. Они постояли.

— Водолива сыскать, — сказал губной. — Сразу.

На струге водолива не было.

Пахом, кормщик, сидел на корме, на бочке, на которой вчера сидел Рыжов, и чинил бечеву. Увидев губного со стрельцами на сходнях, он отложил бечеву и встал. Рыжов был тут же: его позвали с постоялого, и он прибежал без шапки, и лицо у него было красное.

— Фома где? — спросил губной.

— На берег ушёл, — сказал Пахом. — Вечером. Как стемнело.

— Куда?

— Не сказывал. — Пахом пожал плечами. — Он вечерами всегда на берег ходит. Ночевать. У него тут...

Он замолчал.

— Что у него тут? — спросил губной.

— Жена у него тут, — сказал Пахом, будто нехотя. — Ночевать к ней ходит. Утром приходит. К заутрене. Всегда приходил.

— А сегодня?

— А сегодня не пришёл.

Губной посмотрел на Рыжова.

— Твой кабальный, — сказал он. — Где ночует?

— За Булаком живёт, — сказал Рыжов. — Где именно — кормщика спроси. Мне за каждым ярыжкой не бегать. Он водолив. Утром на струге — и ладно. — Он вытер лицо рукавом. — Губной. Ты мне скажи, мне идти или нет? У меня соль в трюме. Сто сорок кулей. Кондратьева с меня спросит. У меня кормщик, ярыжки, всем платить. Я через пять дней иду.

— Не идёшь, — сказал губной.

— Как не иду?

— Так. — Губной повернулся к стрельцам. — Стругу с места не сыматься. Людей со струга без моего слова не пускать. — Он посмотрел на Рыжова. — Пока водолива не сыщем. — И кормщику: — А ты со стрельцом пойдёшь. Покажешь, где жена.

Рыжов открыл рот. Посмотрел на Ершова. Ершов смотрел на воду.

— Подьячий, — сказал Рыжов. — Ты-то хоть скажи.

— Сличение теперь отдельно, — сказал Ершов. — А без водолива струг губной не отпустит.

— А сличать кто будет? Ты ж сличал!

— Сличать некого, — сказал губной. — Сличенный ушёл. И сличальщика твоего, — он кивнул в сторону амбаров, —

зарезали.

Рыжов сел на бочку. Посидел. Потом сказал, ни к кому не обращаясь:

— Шестой год у меня. Шестой год. Ни разу. — Он покачал головой. — Ни разу, чтоб к заутрене не пришёл.

Ибрагим догнал Ершова, когда тот уже сходил на берег.

— Там, у амбаров, сторож стоит, — сказал он. — Татарин. — Ибрагим подумал. — Он говорит, что ночью видел, как двое шли за амбары. Вечером ещё. Двое. А кто — не видал. Темно. Видал, что двое, и что один был в шапке, а другой — без.

— Губному сказал?

— Губному он не скажет, — сказал Ибрагим. — Губной по-татарски не понимает. А сторож по-русски не понимает, когда губной спрашивает.

Ершов остановился.

— А когда я спрашиваю?

— Ты не спрашивал, — сказал Ибрагим. — Я спрашивал.

Стрелец с кормщиком вернулись скоро. Двор за Булаком нашли, в слободе, у колодца. Баба молодая, с дитём на руках, сказала из-за ворот: ночью не приходил. И ворота не открыла. Губной велел стрельцу стоять у того двора до вечера и смотреть.

Сапоги нашлись к полудню. Их принёс сам губной в губную избу и поставил на стол, перед Ершовым. Сапоги были Гордеевы: залатанные, с новой подмёткой на левом, третьей,

той, что он позавчера чинил на чурбаке. Губной снял их с ярыжки, который продавал их на торгу, у Гостиного, за четыре копейки, и ярыжка клялся, что нашёл их на рассвете за амбарами, у мёртвого, а мёртвый был уже мёртвый, а сапоги мёртвому ни к чему.

— Бумаги при нём не было? — спросил Ершов.

— Не было, — сказал губной. — Я его догола. Сапоги, онучи свои, крест, полкалача. — Он помолчал. — Бумагу и выкинуть можно. Я спросил. Он ночью в кабаке на Булаке спал, под лавкой, с двумя такими же, целовальник их на рассвете выгнал. Целовальник видал, и те двое видали. Пошёл он за амбары по нужде, а там мёртвый, уже холодный. — Губной пожал плечами. — Сапоги видно. А бумагу — нет.

Ершов смотрел на сапоги. Левый, с новой подмёткой, ещё пах дёгтем.

— Степан Фёдорович на сапоги не даёт, — сказал он. — Говорит: найдёшь Мишку — на сапоги дам.

Губной посмотрел на него.

— Чего?

— Позавчера говорил. Арзамасец.

Губной помолчал.

— Ярыжку я выпорю, — сказал он. — За сапоги. А сапоги куда? Фалалей говорит: за постой себе возьму, он мне должен. — Он вздохнул. — Пиши, подьячий. Сапоги — к делу. Фалалею скажу: подождёт.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Кабала

Кабалу Ершов прочёл в тот же вечер, у Акулины, при свече, потому что днём читать было некогда. Кабала была писана на половине листа, площадным подьячим, ровно, привычной рукой, какой пишут по сто кабал в год и ни одной не помнят.

«Се яз, Фома Ерофеев сын, Кузьмодемьянского уезда вольный человек...» Дальше Ершов читал, не вчитываясь, потому что дальше всё было как во всякой служилой кабале: занял у торгового человека Ефрема Рыжова три рубля, а за рост служить ему во дворе и на судах до его, Ефремова, живота, а после его живота на волю. Перед послухами стояла строка: «а приметы мои: ростом середний, на левой руке мизинец крив».

Дальше шли послухи, двое, оба Рыжовы сидельцы, и дата: сто шестьдесят третьего году, декабря в девятый день. И приписка, другой рукой, приказной: «А в книгу записана, и Фомка распрашиван, и сказал, что он вольный человек, ни за кем в крестьянах и в холопах не бывал».

Ершов положил кабалу рядом со своими вчерашними записями.

Мишка бежал в сто шестьдесят втором, в мор. Мор был летом и осенью, Ершов это помнил: мор пришёл в Москву летом, а по городам шёл до зимы. Фома записался в кабалу

в декабре сто шестьдесят третьего. Через несколько месяцев после мора.

Это ничего не доказывало. В тот год в Казань пришло много людей, у которых все померли.

— Три рубля, — сказал Ибрагим, который сидел на сундуке и чистил репу. — За жизнь. Дёшево.

— Это не за жизнь. Это за Ефремову жизнь. Ефрем померёт — Фома вольный.

— А Ефрем помирать не собирается, — сказал Ибрагим. — Он толстый. Толстые долго живут. — Он подумал. — Если не помирают сразу.

Акулина у печи сказала, что Рыжову пятьдесят три года, и что он каждую Пасху ест по двенадцать яиц, она сама видела, она у него на дворе куличи пекла, и что такие помирают сразу, в бане, и что если Фоме нужна воля, то пусть ждёт, долго ждать не придётся. Потом подумала и перекрестилась.

Кабальную книгу сто шестьдесят третьего года, как всякий год, отослали к Москве. В приказной избе оставался с неё список, на случай спора, и он лежал в задней палате, на полке, среди других книг, и, чтобы его достать, Ершову пришлось снять с полки сперва книгу таможенную, потом кабацкую, потом какую-то вовсе без надписи, в которой, как потом оказалось, были записаны пожары. Пыль с книг поднялась такая, что молодой подьячий, сидевший у окна, чихнул и выругался.

Список был толстый, на полтысячи листов, в кожаном пе-

реплёте, угол у переплёта погрызен мышами. Ершов искал долго, потому что записи шли не по алфавиту, а как приходили, день за днём, и рука менялась: то один подьячий писал, то другой. Декабрь сто шестьдесят третьего нашёлся в середине книги. Девятый день. Запись была короткая.

«Декабря в 9 день. Явил кабалу казанец торговый человек Ефрем Иванов сын Рыжов на Фомку Ерофеева сына в трёх рублях. А Фомка распрашиван, а в распросе сказал: родом он Кузьмодемьянского уезда, Ветлужской стороны, отец его Ерофей и мать померли, а он с малых лет кормился по Волге в ярыжках, а ни за кем в крестьянах и в холопах не бывал, и в писцовых и переписных книгах ни за кем не писан. А приметы его: ростом середний, волосом рус, на левой руке мизинец крив. Распрашивал подьячий Митрошка Суханов».

Ершов прочёл дважды. Рубца в приметах не было. Мизинец был.

И ещё одно. На струге Фома сказал: мать в мор померла, отца не знал. А тут, шесть лет назад, он сказал: отец его Ерофей. Ершов подчеркнул это ногтем и записал отдельно.

Он посмотрел на молодого подьячего у окна.

— Суханов Митрофан — жив?

— Жив, — сказал подьячий, не поднимая головы. — Вон он. В сенях сидит. Он теперь в челобитчиках, за людей челобитные пишет, за алтын. — Подьячий хмыкнул. — Из избы его вычистили, а в сенях оставили. Говорит, тут ему удобнее.

Митрофан Суханов был старик, лысый, в засаленном каф-

тане, с медной чернильницей на шнурке, и сидел на лавке в сенях приказной избы, у двери, и ждал, кому понадобится челобитная. Когда Ершов подошёл и показал ему список, раскрытый на девятом декабря, Суханов прищурился, прочёл, шевеля губами, и сказал:

— Моя рука. Я и в книгу писал, и список с неё.

— Помнишь?

— Нет, — сказал Суханов честно. — Я их, подьячий, сотни спрашивал. Сто шестьдесят третий — мор был, народу пришло — тьма. Все вольные. Все ни за кем не писаны. Все с малых лет по Волге. — Он вернул список. — Я спрошу: ты чей? Он скажет: ничей. Я напишу: ничей. А что ещё? Мне с него сыскную грамоту требовать? Откуда у него?

— Приметы ты писал.

— Приметы писал. Как положено. Рост, волос. Что видно. — Суханов пожал плечами. — Палец кривой — я и написал, что палец кривой. Чего видел, то и написал.

— А рубца не было?

Суханов посмотрел на него.

— Коли не написал — не было, — сказал он. — Я рубцы пишу. Рубец — первое дело. По рубцу беглых ищут.

Ершов кивнул. Это было то, что он хотел услышать, и потому он не стал этому верить сразу. Он записал: «А Суханов сказал, что рубцы пишет всегда».

— Рыжов тебе за запись давал? — спросил он.

Суханов не обиделся.

— Почесть давал, — сказал он. — Как всякий. Алтын, может. Или калач. Я не помню. — Он посмотрел на Ершова снизу вверх. — Ты, подьячий, сам кормовые медью получаешь. С придачей. Ты знаешь, как оно.

Ершов знал.

Рыжова он нашёл на дворе, на Гостиной улице. Двор у Рыжова был большой, крепкий, с каменной палаткой для товара, с амбарами, и в нём сейчас было тихо, как бывает на дворе, когда хозяин ждёт беды и не знает, откуда она придёт. Рыжов сидел в горнице, без кафтана, в рубахе, и пил квас. Жена его, полная, тихая, с красными руками, увидев Ершова, ушла.

— Ну, — сказал Рыжов. — Сыскали?

— Нет ещё.

— Не сыщут, — сказал Рыжов. — Фома не дурак. — Он поставил кружку. — Садись, подьячий. Квасу хочешь?

Ершов сел. Квасу не взял.

— Ты знал, что он беглый? — спросил он.

Рыжов посмотрел на него долго.

— Он не беглый, — сказал он. — Он вольный. В книге написано.

— В книге написано, что он сказал. Что он вольный.

— Ну вот.

— А ты знал?

Рыжов помолчал. Потом сказал, медленно, будто считал:

— Я его в Покров сто шестьдесят третьего взял. С Бакал-

ды. Пришёл он на струг, ярыжкой, просился на зиму. Худой был, тощий, как жердь, в лаптях, лапти драные. Зимой ярыжек не надо, а у меня на дворе железо лежало, с осени, неразобранное, и дрова не колоты, — я его взял за хлеб. В Филиппов пост у меня водолив помер. От горла. Старый водолив. А этот, Фома, — Рыжов покачал головой, — пошёл на струг, полез в трюм, постучал по днищу кулаком, послушал и говорит: вот тут доска гнилая, по весне потечёт. Мы ту доску вскрыли — гниль. Заменяли. — Рыжов помолчал. — А по весне он ещё две нашёл. — Он посмотрел на Ершова. — Я его в кабалу записал, потому что такого водолива не отпускают. Три рубля дал. Мог бы и пять. Он не просил.

— А спрашивал ты, откуда он?

— Спрашивал, — сказал Рыжов. — Он сказал: с Ветлуги. Я сказал: ладно. — Он развёл руками. — Подьячий. Ты в сто шестьдесят третьем где был?

— На Москве.

— На Москве. А тут был мор. Тут много дворов опустело. Тут ярыжек не было, грузчиков не было, кормщиков не было. Тут кто пришёл, того и брали, и не спрашивали, откуда. — Он помолчал. — А кто спрашивал, у того струги стояли. Ершов молчал.

— Ты меня спроси, — сказал Рыжов, — знаешь ли ты, Ефрем, что за беглого, коли его у тебя сыщут, с тебя за каждый год по десяти рублей возьмут? Знаю. Шестой год. Шестьдесят рублей. — Он взял кружку, посмотрел в неё, поставил.

— У меня струг стоит. Соль Кондратьевой. Ярыжкам плати. Кормщику плати. Простой. А тут ещё шестьдесят. — Он посмотрел на Ершова. — Спроси меня, подьячий, был ли мне резон, чтоб этого арзамасца не было.

— Был?

— Был, — сказал Рыжов. — Большой был резон.

Ершов записал.

— Ночью где был?

— Дома. Тут. — Рыжов кивнул на дверь, куда ушла жена.

— С женой. Жена скажет. Ну, жена что угодно скажет, ты понимаешь. — Он вздохнул. — Работник мой скажет, Ванька, он ворота запирает. Ворота запер с вечера, отпер к заутрене. Ключ у него. Он в сенях спит, у двери, мимо него не пройдёшь. — Он помолчал. — А что я через забор не лазил — того никто не скажет. Я через забор не лазил. Я толстый.

Ершов записал и это. Потом позвал Ваньку. Ванька, работник, парень лет двадцати, сказал, что ворота запер, как стемнело, а отпер к заутрене. Ключ он носит на шнурке, на шее, а на ночь прячет под рубаху, потому что хозяин так велел, когда двор у соседей обокрали. Спит он в сенях, на лавке, у самой двери. Ночью хозяин выходил раз, на двор, по нужде: перешагнул через него, Ванька проснулся, потом хозяин вернулся, опять перешагнул, Ванька опять проснулся.

— А долго хозяина не было?

— Как по нужде, — сказал Ванька. — Не знаю. Я опять уснул, а он опять перешагнул.

— А спал ты крепко?

Ванька подумал.

— Крепко, — сказал он честно. — Я всегда крепко. Хозяйка меня утром кочергой будит.

Рыжов в горнице, услышав, сказал:

— Вот. Вот тебе и свидетель.

Вечером к Акулине пришёл стрелец, тот, которого губной поставил у Фоминого двора за Булаком. Стрелец пришёл не к Ершову, а к Акулине, потому что Акулина была ему тётка, и попросил поест. Акулина дала ему щей. Стрелец ел и рассказывал, что у двора ничего не было, никто не приходил, баба один раз выходила к колодцу, с ведром и с дитём, на него посмотрела и ушла, а к вечеру из двора вышел старик, посадский, бабин отец, видно, и спросил у него, у стрельца, долго ли он тут стоять будет, а то соседи смотрят.

— А ты?

— А я сказал: сколько губной велел, — сказал стрелец. — А он сказал: губной, небось, не велел у ворот орехи щёлкать. И ушёл. — Стрелец доел, вытер миску хлебом. — А я и не щёлкал. У меня и орехов нет. Тётка, дай орехов.

Акулина дала ему орехов в кулёк, и он ушёл стоять дальше.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Услужливый человек

Свидетель пришёл сам, на третий день, к губной избе, с утра, и принёс с собой кадушку мёду.

Кадушка была небольшая, липовая, с крышкой, обвязанной холстом, и он поставил её на стол перед губным так, как ставят не взятку, а гостинец: просто, без поклона, будто это само собой разумеется.

— На помин души, — сказал он. — Арзамасца. Он мне земляк был. Пусть хоть кто-нибудь помянет.

Губной посмотрел на кадушку, потом на него.

— Ты кто?

— Харитон, — сказал человек. — Харитон Мокеев сын Ласкин. Приказчик сына боярского арзамасского Ивана Карцева. — Он поклонился, теперь уже как положено, губному, потом Ершову. — Хозяйский мёд продаю. И хлеб. Каждую весну. Девятый год.

Он был лет сорока пяти, невысокий, плотный, с короткой русой бородой, подстриженной ровно, по-городскому, и с круглым гладким лицом, на котором всё время держалась готовность улыбнуться, если надо. Кафтан на нём был добрый, тёмно-зелёный, суконный, с медными пуговицами, сапоги чищенные, шапка под мышкой. Ершов его узнал не сразу. Потом узнал: у бочек с мёдом, на Бакалде, в день сличения. Человек, который окликнул Гордея.

— Мне сказали, — продолжал Харитон, — что ты, губной, ссыскиваешь, кто арзамасца... — он не договорил и перекрестился. — Я подумал: надо прийти. Я его видал в тот день. Я, может, последний, кто с ним говорил. Кроме того, кто... — Он опять не договорил.

— Садись, — сказал губной.

Харитон сел на краешек лавки, положив шапку на колени. Ершов писал.

Харитон рассказывал охотно. Он знал Гордея по Арзамасу: Лопатинская деревня и Карцевская стоят за рекой, через перевоз, на ярмарку в Арзамас ездят одной дорогой, в церковь на Покров ходят в одну. Гордея он знал давно, так, мельком. В Казани встретил его в Великий пост, на Гостином, и удивился: чего это Лопатинский человек в Казани. Гордей сказал: беглого ищу. Харитон сказал: Бог в помощь. Больше не виделись.

— А в день сличения? — спросил Ершов.

— В день сличения видел, — сказал Харитон. — Я на Бакалде был. Мёд у меня там. Бочки. Я Рыжову мёд хотел продать на струг, до Нижнего, чтоб в Нижнем дорожке взяли. Я с Рыжовым торговался ещё до того, как вы пришли, подьячий. — Он чуть улыбнулся. — Не сторговались. Рыжов скуп.

— Ссору видел?

— Видел. — Харитон покачал головой. — Все видели. Весь берег. Водолив этот... как его... Фома. Он на арзамасца так глядел, подьячий... — Харитон искал слово. — Я на

Волге девятый год. Я таких глаз видал. У волка такие. Когда загонят. — Он помолчал. — Ну и сказал. Убью, сказал. Все слышали.

— А после?

— После арзамасец пошёл с струга, я его окликнул. Земляк ведь. Спросил: твой это беглый? Он говорит: мой. Подьячий, говорит, сомневается, а я знаю, что мой. — Харитон развёл руками. — Я ему говорю: смотри, Гордей, водолив-то злой. Ты бы поостерёгся. А он говорит: я три зимы по дорогам, я никого не боюсь. — Харитон замолчал, и лицо у него стало печальное. — Вот. Не поостерёгся.

Губной кивнул. Ершов записал: «А Харитон сказал, что говорил с Гордейком после сличения у бочек и советовал ему остерегаться водолива».

— Ночью где был? — спросил Ершов.

— Ночью? — Харитон посмотрел на него, чуть удивлённо, будто не ожидал вопроса, но без обиды. — Ночью я, подьячий, уже к Свияжску шёл. На лодке. У меня в Свияжске покупатель на мёд, Нил Саввич, может, знаешь его, торговый человек.

Ершов знал Нила Саввича.

— Я с ним уговорился прошлой весной, — продолжал Харитон. — Пять бочек ему отдать. Девять у меня было: пять Нилу, четыре на другой торг. Я и повёз. Лодка у меня у Бакалды стояла, с бочками, работник при ней. А я у Фалалея стоял. Вечером, как стемнело, от Фалалея с вещами ушёл,

у Булака перевозчика нанял, он меня к лодке свёз. Сели и пошли. Сплыл по Казанке, а там вверх по Волге, на вёслах, к утру был под Свияжском. — Он подумал. — Ну, не к утру. К обеду. Ветер был противный. — Он улыбнулся. — Нил Саввич меня кормил. А вчера вечером вернулся, гляжу — все говорят: арзамасца зарезали. Я и пришёл.

— Работник с тобой был?

— Был. Сенька. Мой, Карцевский. — Харитон кивнул на дверь. — Он во дворе ждёт. Спроси.

— Спрошу, — сказал Ершов.

— Спроси, — согласился Харитон охотно. — И Нила Саввича спроси. Он скажет.

Он поднялся и поклонился.

— А мёд, — сказал он губному, — ты возьми, губной. Не обижай. На помин. Липовый. Хозяйский. Хозяину я отпишу, что арзамасца помянул, хозяин похвалит.

И ушёл.

Сенька, работник, стоял во дворе губной избы и ковырял в зубах щепкой. Был он молодой, широкий, рябой, с толстой шеей, и на вопросы отвечал коротко, поглядывая на ворота, за которыми стоял хозяин.

— Был в лодке?

— Был.

— Когда пошли?

— Вечером.

— Как стемнело?

— Как стемнело.

— А до Свияжска когда дошли?

— К обеду.

— Ветер был?

— Был.

— Какой?

Сенька подумал.

— Противный, — сказал он.

Ершов записал. Сенька ушёл к хозяину. Они пошли по улице вместе, хозяин впереди, работник на шаг сзади, и Харитон на ходу что-то сказал Сеньке, и Сенька кивнул.

— Мёд хороший, — сказал губной, сняв холст с кадушки и понюхав. — Липовый. Не обманул. — Он закрыл кадушку.

— Ну вот. Ещё один слышал. Убью, сказал. Все слышали.

— Все слышали, — сказал Ершов.

— Чего ты?

— Ничего.

Губной унёс кадушку в чулан.

К Фоминому двору за Булаком Ершов пошёл после обеда. Двор стоял в конце улицы, у колодца, небольшой, огороженный плетнём, с избой в два окна и с навесом, под которым стояла тачка и лежали сети. Стрелец, Акулинин племянник, сидел на чурбаке напротив ворот и щёлкал орехи. Увидев Ершова, он встал.

— Не выходила, — сказал он. — С утра раз, к колодцу. И всё.

Ершов постучал в ворота. Ему не открыли. Он постучал ещё. В избе за окном мелькнуло, потом скрипнула дверь, и из сеней на крыльцо вышла молодая баба, с ребёнком на руках, мальчиком лет двух, который держал её за косу. Баба была невысокая, худая, с тёмными бровями, в тёмном платке. Она подошла к воротам, но не открыла, а встала по ту сторону, и Ершов видел её в щель между досками: глаз, бровь, край платка.

— Чего тебе? — спросила она.

— Я подьячий. Ершов.

— Знаю, кто ты. — Голос у неё был ровный, тихий. — Ты его сличал.

— Сличал.

— Ну и чего тебе?

— Он ночью приходил?

— Не приходил.

— А куда ушёл, знаешь?

— Не знаю.

— Ты Дарья?

Она помолчала.

— Дарья.

— Дарья, — сказал Ершов. — Его губной ищет. Губной думает, что это он арзамасца. Мне нужно знать, где он был ночью. Если ты знаешь — скажи. Тогда...

— Он того человека не трогал, — сказала Дарья. Быстро, громче, чем говорила до этого. — Он не мог. Он ночью...

Она замолчала.

— Ночью что?

За её спиной хлопнула дверь, и на крыльцо вышел старик, худой, высокий, седой, с длинной бородой, в посадском кафтане. Он спустился с крыльца, подошёл к воротам, взял Дарью за плечо и отвёл от щели, и сам встал на её место.

— Иди в избу, — сказал он ей, не оборачиваясь. Дарья постояла и ушла. Ребёнок на её руках оглядывался через плечо и держал косу.

— Подьячий, — сказал старик в щель. — Я Илья Котов, посадский, тяглый человек. Он мне зять. Пятый год. Кабалу смотрели, когда она за него шла. Назвался вольным, ни за кем прежде не бывал. Рыжову служит, это мы знали. — Он помолчал. — Он ночью не приходил. Дочь не знает, что говорит. С перепугу. Ты, коли надо, губного пришли. Губному скажем. При губном. А через ворота бабу пытать — это, подьячий, не сыск.

— Я не пытаю.

— Ну и ладно, — сказал Илья Котов. — Ну и иди.

Ершов постоял. Потом пошёл.

Он уже отошёл от ворот, когда с соседнего двора, через плетень, его окликнули. Через плетень смотрела баба, пожилая, румяная, в красном платке, с поварёшкой в руке.

— Подьячий, — сказала она. — Ты, что ль, Ершов? Тот, что у мельника меру поверял?

— Я.

— А женат ты?

Ершов остановился.

— Нет.

— Вот, — сказала баба удовлетворённо. — А у меня племянница. Вдовая. Хозяйственная. Квасы ставит — на всю слободу. — Она помахала поварёшкой. — Ты заходи. Я ей скажу.

— Мне тут сыскивать, — сказал Ершов.

— Ну, сыскивай, — разрешила баба. — А как сыщешь — заходи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Кабак

Кабак на Булаке стоял у самого перевоза, в старой избе, вросшей в землю так, что входить приходилось, пригнувшись, а выходить — уже как получится. Целовальник был новый, с весны. Звали его Кузьма. Был он молодой, чистый, в белой рубахе, с пером за ухом, и всё записывал, и это его выдавало: прежний целовальник, Сила, ничего не записывал, Сила всё помнил.

— Арзамасец? — сказал Кузьма. — Был. В тот день. Под вечер. Я его запомнил. Потому что сидел долго, а выпил одну чарку. У меня так не сидят. Сидит — значит, пьёт. А этот одну. — Он подумал. — Ну, у меня одну. Где ещё — не знаю. Я ему говорю: ещё? Он говорит: нельзя мне, дело у меня. Я говорю: какое дело в кабаке? Он говорит: тут жду.

— Кого?

— Не сказал. — Кузьма пожал плечами. — Сидел вон там, в углу, у окна. И на дверь глядел. Кто войдёт — он глядит. Не тот — опять в окно.

— Дождался?

Кузьма подумал.

— Не знаю, — сказал он честно. — Народу было много. Струги снаряжают. Ярыжки, бурлаки, все пьют. Я выручку пишу, мне глядеть некогда. — Он помолчал. — А потом он с Ондрюшкой сцепился.

— С каким Ондрюшкой?

— Рыжовский ярыжка. — Кузьма кивнул в сторону реки.

— С того струга. Ондрюшка Хромой.

В кабаке было темно и душно. Пахло кислым, луком, мокрой овчиной. За столами сидели человек десять, и все десять, когда вошёл Ершов, перестали говорить и стали смотреть в кружки. Ибрагим остался снаружи: у перевоза стояли возчики, и он сказал, что с возчиками поговорит, а в кабаке и без него наговорят.

Про Ондрюшку рассказали все разом. Кабак вообще говорил охотно, когда понял, что подьячий пришёл не за долгами и не за корчемством. Рассказали, что Ондрюшка пришёл под вечер с двумя другими Рыжовскими, что пили они уже до того, на струге, что Ондрюшка увидел арзамасца в углу и подошёл к нему и сказал: а, скорый, как сорока. И засмеялся. И другие Рыжовские засмеялись. А арзамасец встал и ударил его.

— Ударил? — переспросил Ершов. — Арзамасец?

— Ударил, — сказал мужик за дальним столом, борода-тый, с повязкой на глазу. — Я видал. Не сильно. Ладонью. По уху. — Он подумал. — Ондрюшка и упал. Он же хромой. Его ладонью собьёшь.

— А потом?

— А потом Ондрюшка с полу кричал.

— Что кричал?

Мужик с повязкой посмотрел на соседа. Сосед посмотрел

в кружку.

— Ну? — сказал Ершов.

— Кричал: таких, как ты, в Волгу надо. Кричал: вы, сыщики, людей, как скотину, по дорогам гоняете. Кричал: брата моего так же увели, по выпиши, и он по дороге помер. — Мужик помолчал. — Кричал: подожди, найду я тебя. — Он почесал под повязкой. — Пьяный был. Пьяные всякое кричат.

— А арзамасец что?

— А ничего. Сел обратно. В окно глядеть.

Ершов записал. Потом спросил, когда арзамасец ушёл. Тут мнения разошлись. Один сказал: сразу после драки. Другой сказал: нет, ещё сидел, долго, уже темнело. Третий сказал, что ушёл, когда пришёл человек в добром кафтане, и они вышли вместе. Четвёртый сказал, что никакого человека в добром кафтане не было, а был поп с Воскресенской улицы, который заходил за своим дьячком, и что третий спутал попа с купцом, потому что поп тоже был в добром.

— Поп с арзамасцем вышел? — спросил Ершов.

— Не с арзамасцем. С дьячком. — Четвёртый засмеялся. — Дьячка на себе выносил.

— А арзамасец?

— А арзамасец, может, тоже тогда вышел, — сказал третий упрямо. — Я видал: двое вышли. Один в добром.

— Поп, — сказал четвёртый.

— Не поп. Поп с дьячком. А тот — другой.

— А какой он был, тот, в добром? — спросил Ершов.
Третий подумал.

— Ну, в добром, — сказал он. — В кафтане. Не поп.

Больше из него ничего вытянуть не удалось. Ершов записал и это, и что четвёртый говорит: поп. Кузьма-целовальник, стоя за стойкой, смотрел, как он пишет, с уважением, как один пишущий человек смотрит на другого.

— Ты всех записываешь? — спросил он.

— Всех.

— И того, что поп?

— И того.

Кузьма кивнул, будто подтвердил что-то для себя, и тоже что-то записал в свою книгу.

Ондрюшку Хромого Ершов нашёл на струге, потому что со струга теперь никого не пускали, и вся Рыжовская ватага третий день сидела на корме и в трюме, играла в зернь и ругала губного. Ондрюшка был мужик лет тридцати пяти, сухой, с перебитым носом, правая нога у него была короче левой, и он ходил, переваливаясь. Над ухом у него, там, куда пришлась Гордеева ладонь, была ссадина, уже засохшая.

— Ну, ударил, — сказал Ондрюшка. — Ну, кричал я. А чего мне? Он человек сыскной, а я человек вольный. — Он сплюнул за борт. — У меня брата так увели. В сто пятьдесят девятом. С Самары. Пришёл такой же, с выписью, говорит: твой брат за нашим помещиком писан. Брат говорит: я с Самары не сходил двадцать лет. А тот: по выписи писан. Ну и

увели. По выписи. — Ондрюшка помолчал. — По дороге, под Симбирском, помер. Мне потом сказали.

— А ты что?

— А я ничего. Я на струге. — Он посмотрел на Ершова снизу вверх. — Ты, подьячий, думаешь, я его ночью сыскал? Как обещал?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.